

ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА

Сергей Никитин

Сергей Никитин (1926–1973) из тех писателей, которые в литературной жизни шестидесятых-семидесятых годов сумели раскрыть глаза читателю на ценность духовного мира простого человека из народа, доброту и содержательность его повседневного бытия. Он рано ушел из жизни и оставил по себе светлую память. Как писатель-прозаик, Сергей Никитин был мастером психологически насыщенного лирического рассказа. Эту особенность его дарования еще в пору творческой юности писателя сумел оценить Михаил Михайлович Пришвин — добрым словом напутствовал на поприще служения литературе.

Знаете вы эти дни апреля, когда в скрытых от солнца уголках еще лежит снег, еще пахнет им тревожно и шально воздух, а на припеках уже зеленеет трава и, хилый, сморщенный, вдруг сверкнет в глаза, как золотой самородок, первый одуванчик? В такие дни впервые отворяют окна, сметая с подоконников дохлых мух; в такие дни, блаженно улыбаясь, часами сидят у ворот на лавочках; в такие дни кажется, что счастье — это просто солнце, просто воздух, просто жизнь сама по себе.

О, как мы ждали этих дней! У каждого городского человека случаются минуты, когда его начинают раздражать автобусы, афиши, прокуренные коридоры учреждений, и ему хоть ненадолго хочется сменить небо над головой. Откроет вечером форточку, хватит полной грудью весеннего воздуха, и кровь загудит в висках, спутаются мысли, захочется черт знает чего — дикой скифской скачки на коне, какой-нибудь драки или хотя бы упругого, нагруженного запахами весны, влажного ветра в лицо. Тогда-то и начинает он, еще задолго до сезона, трепетно перематывать лески, набивать патроны, смолить лодку... И в добрый час! Я твердо верю, что путь к природе — это путь к прекрасному не только вне себя, но и в себе. Кто волновался, вдохнув буйный запах черемухи, видел, как раскрывается на рассвете точеный цветок лилии в тихой заводи реки, грустил, провожая взглядом осенний караван журавлей, проходил, как по сказке, по зимнему ельнику, — тот и в себе неизменно открывал что-то прекрасное.

Весна на этот раз выдалась недружная, с тяжелыми восточными ветрами, с почернев-

шими заборами, с тревожным криком вымокших грачей.

Мы пришли в деревню под мелким косым дождем, который к вечеру постепенно переходил в снег, развесили вдоль печки мокрые ватники и рано легли в горнице на полу спать.

А утром я проснулся — и первое, что услышал: «Погода перевернулась». Не понял даже сначала, приснилось мне это или наяву было — стоит надо мной старичок, лучится из

короткой седой бороды улыбкой и говорит:

— Везучие вы, охотники. Погода перевернулась.

Светло было в горнице, солнечно и ярко. Старичок оказался нашим хозяином; он уже сходил куда-то и теперь весь румянился от свежего утренника, который еще сверкал за окном тонким инеем на крышах изб, на скате бревен посреди улицы, на перепончатом льду мелких лужиц. Празднично кричали по деревне петухи. Мы одевались и завтракали быстро, словно боялись опоздать куда-то, но когда вышли на крыльцо, то долго не двигались с места, подставляя солнцу ладони и лица, соскучившиеся по его теплу. Воздух был сухо и колко холоден, но солнце, уже набравшее силу, грело напористо, стойко, и это утреннее борение тепла и мороза обещало ясный, бодрый день.

— Куда пойдем? — спросил мой товарищ.

— Все равно, — ответил я.

Мы пошли по обсохшей обочине дороги за изволок, где отчетливо постукивал трактор; там собралось много народу посмотреть, не вязнет ли он в оттаявшей жиби, и все были возбуждены, веселы, потому что трактор легко бе-

гал по полю, а солнце так и валило на землю потоки тепла. Мы поддались общему настроению, хохотали, поталкивали плечом визжавших девчат, солидно судили с колхозниками о севе и без обиды принимали извечные шутки по адресу горемык-охотников.

Трактор вдруг умолк. И тотчас же стало слышно, как над полем летает первый жаворонок, чистый колокольчик весенних небес.

— Жаворонок к теплу, зяблик к стуже, — умиротворенно вздохнул кто-то, и все долго вслушивались в трепетный звон сверху, пока опять не захлопал трактор, пустив над пашней голубоватый дымок.

Мы ушли очень далеко в тот день по лесистым, не захваченным полой водой буграм, приглядывая места для завтрашней тяги.

— Помнишь, — сказал мой товарищ, когда мы лежали, отдыхая, на солнечной стороне бугра, плотно устланной палым дубовым листом, — помнишь, как давным-давно, еще до войны, мы пришли с одним ружьем в весенний лес, увязли в мокром снегу, а потом вот так же сидели на бугре против солнца, сушили сапоги и ели черный хлеб с луком?

— Да, — ответил я. — А ты помнишь упавший вяз, который еще несколько лет сопротивлялся смерти и каждую весну выбрасывал мелкие розовые листочки? Он лег на землю своей развилкой, и нам было так удобно сидеть на ней друг против друга! Помнишь?

— Никак все-таки не пойму, — задумчиво сказал он, — долга наша жизнь или трагически коротка... Минула едва лишь половина ее, а сколько помнится и сколько забыто! Впрочем, нет! Я ничего не забыл. От первого проблеска сознания до нынешнего дня все отложилось в памяти золотиносным пластом, и мне дорога в нем каждая песчинка. Ясно помню себя мальчиком, таким, как на старой карточке — с открытым ртом и вишнеподобными глазами, полными боязливого удивления перед шаманством фотографа. Лежу в шалаше из старых половиков; душно, жарко, тиниственно полутемно. Играю с ящерицей, которую поймал утром под камнем. И вдруг уснул. А проснулся — и навзрыд плакал, потому что во сне нечаянно придавил маленькую серую ящерицу. Потом хоронил ее под тем же камнем за сараем, и было как-то торжественно и щемяще-грустно на душе... Помню юношество свое, осененное, как тенью, неудачной любовью. И когда девушка, которую я любил, уехала и я понял, что это конец, то целый день, сцепив зубы, шатался за городом по бурьянным пустырям, сидел на обрывистом бе-

регу реки и всем своим раненым сердцем как-то особенно чувствовал невыразимую красоту мягко мглающей дали с синей полосой леса на горизонте, с серебристыми вспышками низкого солнца на крыльях пролетающих чаек... Потом наступила осень, зима. Я начал жизнь, которой был очень доволен. Светло, холодно и чисто было в моей комнате. Знаешь, как чисто может быть в комнате, где не курят, не едят, где не залеживается под кроватью грязное белье и где круглые сутки открыта большая форточка. По утрам я просыпался с чувством необыкновенной свежести. Собирался неторопливо, обстоятельно, и каждое движение — брился ли я, надевал ли чистую рубашку, завязывал ли галстук — доставляло мне удовольствие. Затем мягкий ляг автоматического замка, пружинистые шаги по лестнице, не касаясь рукой перил, первый глубокий глоток утреннего воздуха — все это было тоже прекрасным и с удовольствием отмечалось сознанием. На работе за день я совершенно не уставал. Вернувшись в свою комнату, долго, прежде чем взять с полки книгу, рассматривал и поглаживал разноцветные корешки, наконец брал что-нибудь самое любимое — Чехова, Мопассана, Оскара Уайльда — и садился под зеленоватый свет лампы... Но однажды случилась у меня бессонная ночь. Я вышел из дома, походил по хрустящему мартовскому насту и, чтобы скоротать время, стал отыскивать в небе знакомые созвездия и звезды. Нашел Орион, Кассиопею и звезду Альтаир в созвездии Орла. «Альтаир... Альтаир...» — повторил я мысленно, а потом вслух. И вдруг такая тоска по любви охватила меня, что я тут же проклял свою упорядоченную замороженную жизнь, свою чистую комнату, свои гимнастические гантели, и завертело меня с той ночи, как щепку в половодье...

Товарищ мой быстро поднялся на ноги и, чуть отвернувшись от меня, смотрел на широкий пойменный плес, до густой синевы взерошенный ветром. Стая осторожных северных уток качалась на волнах далеко от берега; им был еще долгий путь по следам весны, к океану, к незакатному солнцу северных широт.

— Невеселые как будто истории я рассказывал тебе, — снова заговорил товарищ. — Ящерица умерла, девушка разлюбила, а прекрасное имя Альтаир одним своим звуком нагоняет печаль... Но все равно — счастье! Понимаешь ты меня? Я говорю, великое счастье — жить на земле, многострадальной голубой планете...